

Давид Маркиш

Тиль-МИТИЛЬ

Рассказ

Мока Гринберг был человек, достойный подражания — дурных дел за ним не водилось, нравом он отличался тихим и покладистым, хотя панибратство и не приветствовал — считал его дурным тоном. Почему «Мока», вот ведь вопрос! Не Миша, не Мойше, даже, на худой конец, не Мика, а именно «Мока». Почему? Откуда это взялось и к Гринбергу прилепилось как банный лист? Никто, начиная с самого Моки, этого не сумел бы объяснить. В Воронеже, где он появился на свет, его нарекли именем «Миша» и так и записали в метрике: «Гринберг Михаил Исаакович, год рождения 1960». Коротко и ясно. Но урожденное имя недолго продержалось. Как видно, в семье папа с мамой сызмальства называли сыночка Мокой — по причинам, затерявшимся в недрах времени. Ну, Мока так Мока; не зря, нет, не зря русские люди, включая сюда краешком и евреев, почерпнули бадьей из колодца народной мудрости: «Назови хоть горшком, только в печку не сажай». Его никто никуда и не сажал, но люди, знакомые и вовсе ему незнакомые, дивились: «Что это за имя такое!» А тридцать лет назад, по приезде в Тель-Авив на ПМЖ, он с удовольствием сердца узнал, что одного знаменитого израильского героя и адмирала тоже зовут Мока.

Родители Моки, как говорится, «академиев не кончали» и звезд с неба голыми руками не хватали, как картошки из костища, — то были простые воронежские люди, зарабатывавшие на хлеб унылым трудом и дальше ближайшего понедельника не заглядывавшие. Партийный Исаак с разводным ключом в руке для обнаружения неполадок обходил жэковские котельные свердловского района, а мама орудовала шваброй и половой тряпкой в родильном доме имени Павлика Морозова. Неполадок в изношенных котельных было пруд пруди, а в роддоме новые папы дружно дули водку на лестничных площадках, курили и плевали на пол; до гигиены тут было не близко. Так что тем ученым специалистам, которые в еврейском национальном меньшинстве сплошь видели городскую интеллигенцию, в семье Гринбергов нечего было искать.

Но и этому паскудному выживанию, которое, по въевшейся в душу привычке, Гринберги принимали за достойную социалистическую жизнь, в бедовые 90-е, с наступлением эпохи красных пиджаков наступил конец. Котельные пришли в полное обветшание, а родильный дом имени Павлика Морозова перестал платить зарплаты и

Маркиш Давид Перецович — прозаик, поэт. Родился в 1939 году в Москве. Автор более двух десятков книг. Участвовал в арабо-израильской войне (1973), был советником премьер-министра Израиля И.Рабина по связям с русскоязычной общиной. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь» и др. Живет в Израиле.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 10.

перешел на самотек. Чтобы не пропасть, Гринберги поменяли направление своих жизненных усилий и заделались вольными предпринимателями: занялись сбором и продажей металлолома. К несчастью, они оказались не одни в этом диком поле, где железяки — эти останки минувшего времени — валялись порой совершенно безнадзорно. Бандюки, тучно расплодившиеся к тому времени, взяли прибыльный и к тому же не требовавший вложений железный промысел под свой контроль, и воспрянувшие было духом Исаак с женой, собственным чаяниям вопреки, оказались конкурентами опасных людей. Конкуренция, как к ней ни подойди, прямым путем ведет к конфронтации и размахиванию кулаками, ну а дальше как карта ляжет... Карта Гринбергов легла плохо: однажды они со своих поисков не вернулись, а их «бизнес» перекочевал в руки тех, кому они дорожку перешли. На все запросы Моки, куда пропали родители, милиция выражала понимание, но пожимала плечами: сбор металлолома рисковое занятие, случается, что и со смертельным исходом; хорошо бы в моргах поспрошать. Но и в моргах Гринбергов не оказалось, надо было их искать в недрах городской свалки или под бетоном дороги.

Оставшись сиротой среди бела дня, воронежский уроженец Мока Гринберг решил, не откладывая дела ни на день, ни на час, ехать в Израиль на постоянное жительство. Хватит!

Надо сказать, что в жизни каждого еврея возникает в свой час, подобно знаменитым огненным письменам «Мене, текел, фарес» на вавилонской стене, неумирающий вопрос: ехать или не ехать? Куда ехать — это не требует наводящих вопросов и ясно без подсказок: на историческую родину, вот куда! Вопрос появился две тысячи лет тому назад и тлел и дымил, пока в советской России не занялся ярким пламенем, а после того, как большевиков прогнали от власти, и вовсе полыхнул на воле: «Поехали!» Но поехали не все, Гринберги не тронулись с места, следуя вязкой пословице: «Где родился, там и пригодился». Да и как могли подняться и ехать *все!* Так не бывает: всегда объявится тот, кто пойдет против течения; на том держится мир.

К тому времени в жизни Моки случилось немало вещей: он окончил кулинарные курсы, отслужил в армии, женился и развелся. Разведенная жена по имени Фаня, уехала с новым мужем на Дальний Восток и исчезла из вида, а разведенец, погоревав умеренно, приступил к жизни молодого одиночки на собственной жилплощади, в комнате запущенной коммуналки на воронежской окраине. В загул, освободившись от семейной узлы, он не пустился по причине ровного склада характера, пить он по-настоящему не пил — а ведь мог и запить, и загулять как мужчина в расцвете сил. Кулинарная ночная работа, державшая Моку Гринберга в ласковых руках, оберегала его от загула и запоя — он, как ни странно это может показаться окружающей публике, нежно любил свое занятие и находил в нем предначертанье Бога, в которого не верил, но чье существование иногда непостижимым образом допускал. Божье дело, исполненное такой красоты, от которой и лошади плачут! Как же его не любить...

Мока был пекарь. Печь хлеб — что может быть важней и почетней среди людей! Хлеб — царь стола, картошка — царица. Ни военный маршал, ни министр с кожаным портфелем пекарю и в подметки не годятся. Дать человеку хлеб — значит, дать ему жизнь, а стрелять в него из автомата, значит, жизнь эту отобрать; вот и вся недолга.

По прибытии на историческую родину Мока Гринберг долго без работы не ходил: пекарь повсюду востребован — хоть на исторической, хоть на доисторической. Работа для него обнаружилась в придорожном, в окрестностях Тель-Авива, мясном ресторанчике самообслуживания с непонятным никому названием «Тиль-митиль». Ни арабы-шашлычники за стойкой, ни еврей-хозяин за кассой понятия не имели, что это за «митиль» такой, что он обозначает и на каком таком языке. Единственное, что дотянулось до наших дней из отдаленного прошлого — это поблекшая ссылка на то,

что на этом самом месте стояла полвека назад покосившаяся забегаловка, где жарил сочные свиные стейки Бородатый Роман — русский человек, похожий на разбойника с большой дороги. Этот Роман, уверяющий, что уровень содержания алкоголя в его крови приближается к восьмидесяти процентам, по неведомой причине называл свою неприметную, без вывески забегаловку «Тиль-митиль», и благодарные посетители тоже ее стали так называть. Можно не сомневаться в том, что жизнелюбивый Роман о Метерлинке никогда не слышал, и узнай он расчудесным образом, что название его шалмана повторяет имена героев неведомой ему «Синей птицы», сильно удивился бы. Но он не узнал... А когда восьмидесятипроцентный Роман умер — пришел его час — и покинул наш круг, его придорожное мясное заведение сменило хозяина и обновилось по всем статьям. Под старым красивым названием оно расцвело пышным цветом; от посетителей не стало отбоя, особенно по субботам. Ну что ж: толерантность правила бал за окнами задумчивых синагог, свиноеды перестали считаться изгоями и вышли из тени на свет. Широта взглядов во всем проявлялась, вот только свинина, как и прежде, жеманно называлась «белое мясо» или, в лучшем случае, «другое мясо»; но ведь и у толерантности, в конце-то концов, тоже есть границы.

На своей новой работе Мока, как и в Воронеже, трудился по ночам: утром, к открытию заведения, свежий теплый хлеб должен быть в достатке. Едоки брали хлеб из деревянного ларя — кто сколько пожелает; «Тиль-митиль» славился не только «белыми» стейками с жареным луком, с огня, но и душистым хлебом. В ларе, вперемешку, были насыпаны по самую кромку средиземноморские питы, иракские лепешки, армянский лаваш и грузинский хлеб-пuri, печь который Мока научился много лет назад в кутаисской пекарне «Багратиони», куда его занесло прихотливым ветром жизни. Не было никакого другого места во всей земле обетованной, где желающий получил бы почти настоящий грузинский puri, кроме как здесь, при дороге, в «Тиль-митиль». И в низкой подсобной пристроечке, где Мока собственноручно соорудил круглую тандырную печь, уже под утро, когда хлеб дозревал и поспевал в красной жаре тандыра, воцарялся Божий счастливый аромат грузинского хлеба.

Здесь же, в подсобке, на видавшем виды просиженном диване Мока и спал в свободные часы. Была у него и собственная крыша над головой — полученная от государства однокомнатная квартирка в Яффе, в неблагополучном районе, в доме для пожилых эмигрантов-одиночек. Там, под замком, хранил он пожитки, привезенные из России: зимнее драповое пальто, в нашем климате ни к чему не пригодное, и коричневый фиброзный чемодан с разными памятными вещами — фотографиями, письмами, трудовыми грамотами, галстуком в полоску и заботливо завернутым в папиросную бумагу, выточенным из дерева макетом летающей тарелки, размером с две сведенные ладони. В Яффу он наведывался нечасто, раз-другой в месяц: делать ему там было решительно нечего. Море, плескавшееся под боком, его не манило, а приятелей среди пожилых соседей-одиночек по коммунальному дому он так и не завел.

Куда интересней жить было в пекарне мясного заведения «Тиль-митиль», при дороге. С утра к полудню поток посетителей прибывал, мясоеды рассаживались в кормовом зале ресторочка за легкими пластмассовыми столиками на тонких алюминиевых ножках или во дворике, под сенью сросшихся кронами вековых эвкалиптов. За разносолями сюда не ездили: опущенные жирком стейки, доставленный из арабских деревень хумус, жгучий турецкий салат, йеменская перечная приправа и пивко; и это все, и этого достаточно. А кому недостаточно, несут с собой бутылку горячительного напитка, а то и две, и тогда под эвкалиптами, вместе с водочкой, привольно льется родная русская речь, иногда переходящая в песню.

Отдохнув на своем диване после ночной работы, Мока выходил в зеленый дворик и усаживался на одинокой лавочке, не отведенной для посетителей мясного заведения.

Ему нравилось там сидеть, в тени деревьев, и разглядывать утоляющих голод людей — они с наслаждением жевали сочное мясо и макали пышный хлеб в мясной сок в своих тарелках. Добрая аура насыщения витала в воздухе, и Моке казалось, что перед ним не площадка двора, а островок добродушной легкости в море вялотекущей жизни. Глядя на беззаботных едоков, Мока гадал, кто они и чем заняты за пределами харчевни; он отделял в этом пиршественном ковчеге бережливых неимущих от непомерных богачей, местных от туристов, конторских чиновников от базарных торговцев. Все здесь были, и женщины приводили с собой для полноты удовольствия.

Разбираться, кто есть кто за столами, Моке помогал его приятель Ярослав Лифшиц, лет тридцати без малого, вятский уроженец. Этот Ярослав, в обиходе Слава, прибыл на мамину историческую родину лет десять назад по сионистским убеждениям и гулкому зову крови, наполовину славянской; родители, немного подумав, последовали за сыном. И если Мока, накануне отъезда из Воронежа, достоверно знал об Израиле, что там апельсины растут в лесу, как елки или березы, то Слава Лифшиц обладал знаниями более глубокими: например, царь Давид с пращей в руке представлялся ему фигураном вполне материальной. Приехав молодым, вятач быстро выучил иврит, вполне поладил с новой средой и растворился в ней, как соль в супе. У мамы с папой, осевших в кибуце на юге, он бывал наездами, редко, ракеты из Газы там сыпались на головы, как град с небес, а сидение в бомбоубежище противоречило вольнолюбивому настрою Славиной души. Этот великолепный настрой не позволял ему задерживаться надолго на одной какой-нибудь работе. Оседлый труд был ему противопоказан, и он сменил немало занятий: подметал улицы и помогал слесарю, выгуливал собак и таскал ящики на рынке, пел песни в подземном переходе и даже писал заметки в русскую газету, в раздел «Из жизни бомжей».

В «Тиль-митиль» Слава Лифшиц заглядывал, чтобы поесть хлебца и, сидя с Мокой Гринбергом на лавочке, обсудить политические новости, до которых бывший вятач был большой любитель и знаток. В своих критических оценках Слава не жаловал ни правых, ни левых, ни богатых, ни бедных, ни дураков и ни умных. Жуя хлеб, он подавал советы, адресованные мировым лидерам — как быстрей добиться всеобщей справедливости, будто у этих лидеров, по обе стороны океана, да и у нас в Иерусалиме, других забот не возникало. Обладая завидной зрительной памятью, Слава без колебаний опознавал в едоках политических деятелей и народных депутатов, знакомых ему по газетным фотографиям и телевизионному экрану, и указывал на них пальцем своему приятелю. Весьма возможно, что критикан допускал ошибку, но это не приходило в голову Моке Гринбергу — он и от хозяина, стоявшего за кассой, слышал, что в его заведение нередко наведываются известные люди. Что ж, смарто откусить от запретного плода, в спокойной обстановке, под эвкалиптами, всякому человеку заманчиво. Ну, почти всяко.

А что до поисков всеобщей справедливости, то тут, определенно, возобладала еврейская половина Ярослава Лифшица: нам свойственно, вплоть до головной боли и ломоты в костях, отстаивать идею этого пустого поиска и даже принимать участие в кровопролитных за нее битвах, бесперспективных, как ловля золотокрылой жар-птицы. Это наша неизлечимая болезнь, и ничего с этим нельзя поделать.

К счастью, и Мока Гринберг, и его вятский приятель-полукровка такую национальную хворобу переносили в скрытой, неагрессивной форме — не то можно было бы ожидать появления нового Льва Троцкого или хотя бы террористки Фанни Каплан. Но эти заметные персонажи покамест не появлялись в публичном пространстве. Другие появлялись.

В перерывах между обсуждением политических новостей всплывали и прочие актуальные темы. Как-то раз пекарь без нажима поинтересовался у своего собеседника,

видел ли он когда-нибудь в жизни летающую тарелку. Вопрос был далеко не праздным: Мока Гринберг верил в летающие тарелки, как иные люди верят в существование фигуративного Бога с длинной седой бородой и лохматыми бровями. Сам Мока тарелку никогда не видал, но со смиренным терпением дождался ее появления и возлагал надежды на встречу с инопланетянами: они на день-другой заберут его на свой корабль — познакомиться, а заодно вылечат от повышенного давления и болей в ногах и пояснице.

— Тарелку не видел, — ответил на вопрос Слава. — Они у нас в Вятке не летали, а сюда, говорят, прилетают часто.

— Да, я тоже слыхал, — сказал Мока. — Ждать надо...

Так, размеренным шагом, проходило время мимо служебной скамейки пекаря Моки в ресторанном дворике придорожной харчевни «Тиль-митиль», пока не пришло известие о нападении на человеческую расу смертоубийственной орды под названием «Корона». Эта новость не отменила обсуждений Мокой и Славой политических новостей, но существенно их потеснила. Посиживая на лавочке, под шапками эвкалиптов, приятели не без уныния взглядывались в близкое будущее — в эпоху всеобщего маскарада, когда мир нацепит защитную маску по самые глаза, а китайскую инфекцию сначала объявит эпидемией, а затем и пандемией. Спору нет, смаковать уморительные проделки Трампа с Путиным и нашего Биби было куда интересней и живей, это же ясно.

Посетители придорожной харчевни от наступления ужасной орды ничуть не дрогнули и не поувялились в числе — как ходили, так и продолжали приходить. «Тиль-митиль» располагался на отшибе от главных магистралей и культурных центров, полиции там не видели отродясь, а контролеры — да, те наведывались, но получив карманную мзду, без задержки раскланивались и ехали дальше по своим делам. А масочный режим здесь строго соблюдали — для борьбы с заразой и на всякий случай, и этот маскарад добавлял толику нелепицы в картину увлеченно жующего дворика. Все тут были в масках — гости, арабы у мангала, хозяин за кассой и Мока с Ярославом на своей лавочке. Все.

Так они сидели и в тот тихий день, ничем не отличавшийся ни от вчерашнего, ни от позавчерашнего.

— Тут ведь что важно, с этой заразой... — начал Слава Лифшиц и замолчал, ожидая, что Мока вступит в разговор и тоже выскажетася насчет важности заразы. Но Мока молчал, не отводя рассеянного взгляда от жующих.

— Конец света, может, подходит, вот что важно, — продолжил Слава, — а им хоть бы хны: жуют себе, и всё. Бараны.

— А что они могут делать? — отвлекся от наблюдений Мока Гринберг. — Плакать, кричать? Колотить себя сковородкой по голове? Они едят хлеб с мясом посреди чумы и короны, и им хорошо... Как моя покойная мама говорила: «Лучше неприятности с фаршированной рыбой, чем неприятности без фаршированной рыбы».

— Это да, — согласился Слава. — Лучше с рыбой... Но если дело так пойдет, весь мир может заразиться, и мы все вымрем к чертовой матери.

— Тут уж ничего не поделаешь, — заключил Мока. — Ты же газеты читаешь: никто не знает ничего. Только языками трясут.

— Не знают, — подтвердил Слава. — И мы не знаем. Трубку нам с тобой засунут в глотку, мы и будем лежать.

— Каждый делает, что может, — не стал возражать Мока. — Я хлеб пеку, ты в газету пишешь и с собаками гуляешь.

— Хак пришел, — оживился Слава Лифшиц. — Гляди! С тёлкой!

— Хак? — переспросил Мока. — Это кто?

— Член Кнессета, — объяснил Слава. — Сокращенно.

Во дворик, натягивая маску повыше и надвигая темные очки, вошел средних лет мужчина в черном костюме, в белой рубашке с расстегнутым воротником. С ним рядом шла женщина с короткой задорной стрижкой, в зеленом узком платье, подчеркивавшем стройность молодой фигуры. Пара заняла столик, потом мужчина поднялся и отправился к кассе делать заказ. По уверенности его действий можно было предположить, что он здесь не впервые.

— Ну, а чего! — одобрил Мока. — Раз пришел — значит, нравится ему. Человек-то живой пока! И девушку привел.

— Но он же хак! — усомнился Ярослав Лифшиц.

— А им нельзя, что ли? — спросил Мока. — Запрещается?

— Ничего им не запрещается, — сказал Слава. — Но, если его тут засекут, может быть шурум-бурум: белые стейки, и к тому же с тёлкой.

— Ну, вот ты в газету и напишешь, — сказал Мока. — Мой хозяин тебе спасибо скажет — нам только реклама.

— Ну да, — охотно согласился Слава. — Такая новость покруче короны будет. А то к заразе все уже начинают привыкать понемногу.

— Те, кто еще не заболел, те и привыкают, — меланхолично заметил Мока. — Это, получается, как на войне: солдат надеется, что пуля не в него попадет, а обязательно в соседа.

— А пуле-то на это наплевать, — поддержал разговор Слава Лифшиц. — Пуля — дура, как в Вятке говорили. А штык молодец.

— Главное, чтоб всех подряд до единого не зашибло, — прикинул Мока Гринберг. — Но это уж как там решат, — и он указал пальцем в небо, где инопланетяне летали на своих тарелках. — Как они решат, так и будет.

Слава не стал пускаться в спор, хотя не вполне разделял фатальное пророчество пекаря.

Тем временем на площадке появилось новое действующее лицо — приземистая тетка в черной шляпе, стремительно двигавшаяся и бесцеремонно высматривавшая, кто сидит за столиками над едой.

— Гляди, гляди, сейчас начнется! — настраивая мобильник для съемки, пригласил Слава Лифшиц своего собеседника. — Сейчас она ему покажет как родину любить!

Добравшись до хака, тетка хищным движением сдернула с его лица маску, шваркнула ею о стол, а затем сбросила тарелки с едой на землю.

— Маску напялил, пес поганый! — толкая стол, закричала тетка во весь голос. — Очки надел! Свиноед! Я этот бардак прикрою! Сожгу дотла!

— Накрыла мужика! — фотографируя, воскликнул Ярослав в большом возбуждении. — Вот это да! Поджечь грозится!

— Пекарню огонь не возьмет, — ничуть не озабочился Мока. — Моя подсобка — дом хлеба; святое место.

Полыхнуло сразу с трех сторон, перед рассветом. Дикий огонь скоро добежал и до подсобки, где в ожидании летающей тарелки безмятежно спал пекарь на своем диване.

И она прилетела, в дыму и огне! Последнее, что запомнил Мока Гринберг на своем веку, это были похожие на пожарных инопланетяне, в скафандрах и шлемах, выносящие его тело из подсобки на волю.